

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	11
ПОДЗЕМКА	23
В ТЕНИ ФРЕЙДА. ЧАСТЬ 1	36
В ТЕНИ ФРЕЙДА. ЧАСТЬ 2	56
КРОВАТЬ КАВАФИСА	74
ЗЕБАЛЬД: ЖИЗНИ, ПРОЖИТЫЕ НЕ ТАК	87
ГАЗОВЫЙ СВЕТ СЛОУНА	102
ВЕЧЕРА С РОМЕРОМ	
Мод, или Философия в будуаре	112
ВЕЧЕРА С РОМЕРОМ	
Клэр, или Незначительное происшествие на озере Анси	142
ВЕЧЕРА С РОМЕРОМ	
Хлоя, или Полуденный непокой	166
НОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ ПОД СОЛНЦЕМ	182
ДРУГОЕ МЕСТО НА ЭКРАНЕ	203
ПОЦЕЛУЙ СВАНА	211
БЕТХОВЕН, СУФЛЕ-МИНОР	229
ПОЧТИ ПРИБЫЛИ	237
«ВИЛЬ-Д'АВРЕ» КОРО	242
ОБРЫВОЧНЫЕ МЫСЛИ О ФЕРНАНДО ПЕССОА	245

Ирре́алис (англ. *irrealis, irrealis mood*) — грамматическая категория, показатели которой описывают статус ситуации по отношению к реальному миру. Эта категория имеет две граммемы: реалис и ирреалис.

Также ирреалис, ирреальное наклонение — общее название для группы грамматических наклонений, используемых для обозначения ситуаций или действий, которые содержат ирреальный компонент и противопоставлены индикативу, или изъявительному наклонению, обозначающему достоверную ситуацию. Для этого значения существует также термин *косвенное наклонение*.

Понятие ирреалиса тесно связано с понятием ирреальной модальности. Однако в целом семантика ирреалиса шире, чем семантика модальности. В языках мира существует целый ряд значений, которые выражаются граммемой ирреалиса, но при этом не являются модальными. Это связано с тем, что, говоря об ирреальной модальности, мы имеем в виду только те ситуации, которые не имеют, не могут или не должны иметь место в реальном мире. Граммемой ирреалиса же может выражаться более широкое множество значений. В частности, это те значения, которые связаны с эпистемической оценкой ситуации говорящим. Говорящий может высказывать оценку ситуации, о наступлении которой в прошлом, настоящем или будущем ему неизвестно. Или же он может сообщать, в какой мере ситуация, о наступлении которой ему достоверно известно, совпадает с имевшейся у него ранее эпистемической гипотезой. Кроме того, в сферу значений ирреалиса входят семантические зоны *желания и намерения*. Наиболее распространенные ирреальные наклонения — сослагательное, повелительное, побудительное, юссив, оптатив.

Википедия

ПРЕДИСЛОВИЕ

Память все возвращает мне четыре фразы, написанные давным-давно. Я до сих пор не уверен, что понял их правильно. Часть души хочет в этом разобраться, другой страшно, что тем самым я вытяну из них смысл, который не воплотить в словах, или — хуже того — что от самой попытки вывести этот смысл он спрячется еще дальше. Похоже, эти четыре фразы не хотят, чтобы я, их автор, знал, что я ими пытался сказать. Я облек их в слова, но их значение мне по-прежнему не принадлежит.

Я написал их, когда пытался понять, где корень той странной ностальгии, что колышется почти надо всем написанным мною. Поскольку родился я в Египте и меня, как и многих египетских евреев, оттуда изгнали — мне тогда было четырнадцать лет, — совершенно естественно, что корнями своими моя ностальгия уходит в Египет. Проблема в том, что подростком мне довелось жить в Египте, который на тот момент стал антисемитским полицейским государством, в результате я Египет возненавидел и с нетерпением ждал того часа, когда мы уедем и окажемся

в Европе, лучше всего — во Франции, поскольку родной мой язык — французский и наша семья сохранила тесные связи с тем, что мы считали своей французской культурой. Однако парадоксальным образом друзья и знакомые, уже обосновавшиеся за границей, постоянно напоминали нам — тем, кому возможность покинуть Александрию должна была представиться только в ближайшем будущем, — что худшая составляющая жизни во Франции, Италии, Англии или Швейцарии заключается в следующем: все уехавшие из Египта страдают от невыносимых приступов ностальгии по месту рождения, которое когда-то было их родиной, но более ни в коей мере не являлось их домом. Те из нас, кто все еще жил в Александрии, ожидали, что будут мучиться от ностальгии, и если разговоры об этой предвкушаемой ностальгии велись достаточно часто, то, видимо, потому, что, осмысляя эту неизбежную ностальгию, мы как бы делали себе защитную прививку прежде, чем ностальгия набросится на нас в Европе. Мы упражнялись в ностальгии, высматривали места и вещи, которые обязательно будут напоминать нам о нашей утраченной Александрии. В определенном смысле мы заранее возвращали в себе ностальгию по месту, которое иные из нас — особенно те, что помоложе, — не слишком любили и мечтали покинуть.

Мы вели себя как те супруги, которые постоянно напоминают друг другу о неминуемом разводе, чтобы не слишком сильно удивиться, когда дело до него все-таки дойдет, а потом их будет мучить тоска по жизни, которая раньше обоим казалась невыносимой.

При этом мы были суеверны, поэтому упражнения в ностальгии становились одновременно и хитроумной разновидностью надежды на то, что перед грядущим изгнанием из Египта всех евреев нам будет дарована неожиданная

отсрочка — нам надо лишь изобразить полную свою уверенность в том, что изгнание это неизбежно в самом ближайшем будущем, что мы его даже предвкушаем и готовы платить за него ностальгией, которая наверняка набросится на нас в Европе. Видимо, мы все, и молодые, и старые, побаивались Европы, и нам нужен был хотя бы еще один год, чтобы привыкнуть к мысли о столь заманчивом для нас исходе.

При этом, оказавшись во Франции, я очень быстро понял, что это не та дружелюбная и гостеприимная Франция, о которой я мечтал в Египте. И действительно, та Франция была всего лишь мифом, который позволял жить дальше после утраты Египта. Впрочем, три года спустя, когда я переехал из Франции в Соединенные Штаты, старая воображаемая ненастоящая Франция внезапно возродилась из пепла, и теперь, будучи американским гражданином и жителем Нью-Йорка, я оглядываюсь назад и ловлю себя на том, что вновь тоскую по Франции, которой никогда не существовало и существовать не могло, и все-таки она есть где-то там, на пути между Александрией, Парижем и Нью-Йорком, притом что я не смогу точно указать ее местонахождение, ибо она такого не имеет. Это Франция вымышленная, а вымыслы — будь то предчувствия, фантазии или воспоминания — не обязательно исчезают лишь потому, что не являются реальностью. Можно очень долго лелеять свои фантазии, тем более что фантазии, ставшие воспоминаниями, так же прочно укоренены в прошлом, как и события, действительно имевшие там место.

Единственная Александрия, которая мне, похоже, безразлична, — это та Александрия, которую, как мне представляется, знали мой отец и мои деды. Город в тонах сепии, некогда бердивший мое воображение воспоминаниями, которые не могли быть моими, но увлекали меня

вспять в те времена, когда город, который я должен был вот-вот утратить навеки, был домом для многих моих родных. Я тосковал по этой старой Александрии, существовавшей за два поколения до моего, — тосковал, зная, что она, скорее всего, никогда не была такой, какой я ее себе воображал, тогда как та Александрия, которую я знал, была — ну, просто реальной. Когда бы доплыть из нашего часового пояса к тому другому берегу и вернуть себе эту Александрию, некогда вроде бы существовавшую.

Во многих смыслах я ностальгировал по Александрии еще до того, как покинул Александрию.

Сегодня мне трудно сказать, скучаю ли я по Александрии. Скучаю, видимо, по бабушкиной квартире, где на несколько недель обосновалась вся родня, пока мы укладывали вещи и рассуждали о переезде в Рим, а потом в Париж, куда перебрались уже многие наши родичи. Помню, как привозили чемоданы, и еще чемоданы, а потом еще кучу чемоданов и сваливали их все в одной из просторных гостиных. Помню, как каждый уголок бабушкиного дома пропитался запахом кожи, — я же в это время, по удивительному совпадению, читал «Повесть о двух городах». По тем дням я скучаю, потому что в преддверии неизбежного отъезда родители освободили меня от школы, так что я волен был заниматься чем угодно, получились такие импровизированные каникулы, а по дому постоянно сновали слуги — они помогали с упаковкой вещей, — поэтому казалось, что готовится какое-то громадное пиршество. По тем дням я скучаю, наверное, из-за того, что мы уже были не в Египте, но еще и не во Франции. Я скучаю по этому промежуточному периоду — по тем дням, когда я уже предвкушал Европу, в страхах перед которой сам не хотел себе признаваться, но при этом не мог до конца поверить в то, что скоро, к Рож-

деству, смогу своими руками потрогать Францию. Я скучаю по послеполуденным и предвечерним часам, когда все члены семьи объежались к ужину — видимо потому, что нам просто необходимо было сбиться в кучку и зачерпнуть запас храбрости и солидарности перед лицом высылки и изгнания. Именно в те дни во мне и начала зарождаться некая тоска, суть которой мне тогда никто не объяснил, но сам я знал, что она неким тесным образом связана с сексом, который в моих мыслях постоянно путался с тягой к Франции.

Оглядываясь на последние месяцы жизни в Александрии, я нахожу там тоску не по Александрии: оглядываясь, я тоскую по возможности вернуться в тот миг, когда я, подросток, застрявший в Египте, мечтал о другой жизни на другом берегу Средиземного моря, и все меня убеждали в том, что имя этой жизни — Франция. Миг этот настал однажды теплым весенним александрийским днем, когда окна наши были открыты, мы с тетужкой смотрели, облокотившись на подоконник, на море, и она сказала, что вид напоминает ей о ее парижском доме, где, слегка высунувшись из окна, можно было увидеть Сену. Да, я в тот миг еще был в Александрии, но все окружающее было уже в Париже, и смотрел я на кусочек Сены.

Но вот что удивительно. Я тогда не просто мечтал о Париже; я мечтал о Париже, в котором в недалеком будущем я буду стоять, глядя на Сену, и ностальгически вспоминать вечер в Александрии, когда вместе с тетужкой воображал себе Сену.

Вот четыре фразы, которые так меня мучают:

Вспоминая Александрию, я вспоминаю не только Александрию. Вспоминая Александрию, я вспоминаю город, в котором мне нравилось воображать

себе, что я уже где-то в другом месте. Вспоминать Александрию, не вспоминая при этом, как я мечтал в Александрии о Париже, — значит исказить свои воспоминания. Находиться в Египте значило бесконечно воображать себе собственный исход из Египта.

Я был подобен испанским марранам начала Нового времени — евреям, крестившимся, чтобы избежать преследований, но тайно продолжавшим исповедовать иудаизм и не сознававшим, что с ходом времени, много поколений спустя, они запутаются в двух своих верах и перестанут понимать, которая же для них истинная. Предвкушаемого возвращения к иудаизму после того, как кризис миновал, для них не произошло, и тем не менее приверженность христианству так и осталась иллюзией. Я вскармливал в Александрии одно ощущение себя, а в Париже баюкал другое, постоянно предвкушая, что, когда я поселюсь за океаном, некое третье будет оглядываться вспять на то, которое я оставил позади.

Я забавлялся с этими несбыточностями, которые пока не случились, но от этого не утратили реальности, ведь могли еще случиться, хотя я и опасался, что они не случатся никогда, а порой мне очень хотелось, чтобы они не случались подольше.

Позвольте повторить последнюю фразу, потому что суть ее будет повторяться в этой книге снова и снова: «Я забавлялся с этими несбыточностями, которые пока не случились, но от этого не утратили реальности, ведь могли еще случиться, хотя я и опасался, что они не случатся никогда, а порой мне очень хотелось, чтобы они не случались подольше».

Фраза эта — погасшая звезда, тайная спутница тех четырех фраз, которые доставили мне столько мучений.

В ней перепутаны все глагольные времена, наклонения и виды и начат поиск нового грамматического времени, лежащего за пределами наших представлений о времени физическом. В лингвистике оно называется ирреальным наклонением.

В моем случае речь идет не просто о тоске по прошлому. Я тоскую по конкретному времени из прошлого, когда я не просто проецировал на Европу свое воображаемое будущее; я тоскую по памяти о тех последних днях в Александрии, когда я уже предчувствовал, как буду смотреть из Европы вспять на ту самую Александрию, которую мне так не терпелось утратить. Я тоскую по себе, ищущему того меня, которым я стал теперь.

Кем я был в те дни, о чем думал, чего боялся, чем мучился? Начал ли я уже пытаться переправить в Европу частицы моего александрийского «я», которое, как я боялся, вот-вот будет утрачено навеки? Или я пытался привить черенок своего воображаемого европейского «я» к стволу прежнего «я», которое вот-вот придется оставить в прошлом?

Это движение по замкнутому кругу с целью сохранить нечто, что нам вот-вот суждено утратить, лежит в основе любого «я», существующего в ирреальной модальности. Я пытаюсь сохранить нечто, что не вполне реально, но при этом и не полностью ложно. Если я по сей день устраиваю randevu с самим собой в этом замкнутом круге, то только потому, что продолжаю попытки нащупать хоть какую-то твердую почву под ногами; у меня нет ничего неизбежного, нет места, где я укоренен во времени и пространстве, нет якоря и, подобно слову «почти», которое я употребляю слишком часто, во мне нет границ между «да» и «нет», днем и ночью, всегда и никогда. Ирреальное наклонение не ведает границ между «есть» и «нет», между случив-

шимся и неслучившимся. Очень во многих смыслах эссе о художниках, писателях и мыслителях, собранные в этой книге, не имеют никакого отношения к тому, кто такой я и кем были они, да и мое толкование их трудов может быть полностью ошибочным. Но, неправильно прочитывая их, я правильнее прочитываю себя.



Моя фотография, сделанная отцом, — последняя из египетских. Мне едва исполнилось четырнадцать. На фотографии я щурюсь, пытаюсь не закрывать глаза — солнце бьет мне в лицо, — и несколько смущенно улыбаюсь, потому что отец надо мной подтрунивает, велит в кои-то веки стоять прямо, я же, скорее всего, думаю о том, что терпеть не могу этот пустынный оазис километрах в тридцати от Александрии, скорее бы уже вернуться домой и пойти в кино. Я наверняка знал, что вижу этот оазис в последний раз в жизни. После этой нет ни единой фотографии меня в Египте.

Сам я вижу на этой фотографии последний миг существования того человека, которым я был за три недели до отъезда из Египта. Я стою в типичной своей насупленной нерешительной позе, засунув руки в карманы, и понятия не имею, что мы делаем на этом краю света в пустыне и почему я вообще позволяю отцу себя фотографировать.

Мне понятно, что отец мною недоволен. Я пытаюсь выглядеть таким, каким должен быть по его мнению: «Стой прямо, не хмурься, смотри решительно». Только это не я. И все же, глядя на фотографию сегодня, я вижу себя тогдашнего. Себя, пытающегося прикинуться кем-то другим,

застрявшего в неловком положении между тем, кем мне быть не нравится, и тем, кем меня просят стать.

Глядя на черно-белый снимок, я сочувствую этому мальчишке почти шестидесятилетней давности. Что с ним случилось? В кого он превратился?

Он никуда не делся. Хотя мне бы, пожалуй, хотелось, чтобы делся. «Я искал тебя, — произносит он. — Я постоянно тебя ищу». Но я никогда с ним не заговариваю, даже думаю про него редко. Тем не менее, стоит ему ко мне обратиться, я откликаюсь. «И я тоже тебя искал», — произношу я в виде своего рода уступки, далеко не будучи уверенным в правдивости своих слов.

А потом до меня доходит: что-то произошло с человеком, которым я был на той фотографии, с человеком, глядящим на отца, который велит ему стоять прямо, добавляя — это он делал часто — ехидное «в кои-то веки», чтобы критическое замечание обязательно ударило в самое больное место. И чем больше я смотрю на мальчика на фотографии, тем отчетливее осознаю, что нечто отделяет меня от человека, в которого я мог бы превратиться, если бы ничего не изменилось, если бы я никуда не уехал, если бы у меня был другой отец или мне бы позволили остаться в Египте и стать тем, кем стать мне было предназначено — или даже хотелось стать. Именно тот человек, стать которым мне было предназначено и которым я мог бы стать, все продолжает беречь мне душу, потому что вот он передо мной на фотографии, но спрятан очень надежно.

Что случилось с человеком, в которого я добросовестно превращался, не зная, что того и гляди в него превращусь, потому что ты ведь никогда не осознаешь того, что добросовестно в кого-то превращаешься? Я смотрю на черно-

белый снимок этого некто, и возникает искушение произвести: «И все-таки это я». Только это неправда. Не остался я самим собой.

Я смотрю на фотографию мальчишки, позирующего по просьбе отца на ярком, бьющем в лицо солнце, а мальчишка этот смотрит на меня и спрашивает: «Что же ты со мной сделал?» Я смотрю на него и спрашиваю себя: что же, господи прости, я такое натворил со своей жизнью? Кто он, этот «я», отрезанный напрочь, не ставший мною? Ведь это я его отрезал и никогда не стал им.

Утешить меня ему нечем. «Я остался, а ты уехал, — говорит он. — Ты меня бросил, ты бросил тогдашнего себя. Я остался, но ты-то уехал».

У меня нет ответа на его вопросы: «Почему ты не взял меня с собой? Почему так быстро отрекся?»

Хочется у него спросить, кто из нас двоих реален, а кто нет.

Только ответ я знаю заранее. «Ни ты, ни я».



В последнее свое посещение Нерви я сфотографировал виа Марко-Сала — большую петлистую улицу, которая соединяет городок Больяско с Нерви к югу от Генуи. У меня был айфон, и я сделал фотографию в сумерках, потому что очень уж примечательно выглядели сумерки на пустой извилистой дороге, которую я так любил, а отчасти еще и потому, что отсвет на мостовой выглядел очень странно. Прежде чем сделать фотографию, я дождался, чтобы проезжавшая машина скрылась из виду. Наверное, мне хотелось запечатлеть сцену вне времени, без всяких указаний на то, где, когда, в каком десятилетии сделан снимок. Потом я выложил